

Л.В. Поляков

Вечное и преходящее в русском консерватизме

«Истинный консерватизм есть борьба вечности с временем».

Николай Бердяев

Формула Бердяева, вынесенная в эпиграф, кажется простой и ясной. Но на самом деле она несет в себе возможность двух существенно различных (практически – противоположных) интерпретаций. В чем в действительности заключается истинность консерватизма? В том ли, что настоящий консерватор стремится все преходящее воспринимать и *оценивать с позиции вечности*? Или, наоборот, он постольку настоящий, поскольку умеет любую наличную данность бытия *возводить в статус вечности*?

В первом случае мы обязаны смотреть на сиюминутность с максимальной строгостью, подвергая все происходящее здесь и сейчас бескомпромиссной проверке «на вечность». Казалось бы, именно в эту сторону движется мысль Бердяева, уточнявшего в той же типичной для него афористической манере: «Правда консерватизма не есть начало, задерживающее творчество будущего, она есть начало, воскрешающее прошлое в его нетленном» [1, с. 113]. Но если следовать этой мысли буквально, то есть искать во всем только «нетленное», то парадоксальным образом мы (все, полагающие себя консерваторами) можем оказаться по одну сторону «интеллектуальных баррикад» с мыслителями прямо противоположного духа. Например, с идеологом русских негилистов-шестидесятников Дмитрием Писаревым, который, будучи двадцати одного года от роду, ухитрился потрясти российское образованное общество своей статьей «Схоластика XIX века», опубликованной в сентябрьской книжке журнала «Русское слово» за 1861 год.

А писал он буквально следующее: «Каждое поколение разрушает мирозерцание предыдущего поколения <...> стремление к истине, поступательное движение всегда лучше обладания ею уже потому, что последнее есть самообольщение, а первое – действительный факт <...> что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть» [8, с. 134–135].

На первый взгляд в этом манифесте негилистического радикализма нет и намек на консервативную постановку темы «борьбы» вечного с преходящим. Но только на первый взгляд! Ведь если вчитаться в этот вызывающе-бунтарский текст, то можно открыть в нем то самое *платоновское* устремление к истине, которое и есть единственно данная нам достоверность. Стремление прорвать-

Поляков Леонид Владимирович, доктор философских наук, член Экспертного совета Фонда ИСЭПИ; профессор департамента политической науки факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики». E-mail: leopolen@yandex.ru

ся сквозь обманчивую пелену псевдобытийной кажимости и безответственной множественности мнений к тому, что несомненно истинно и, следовательно, вечно: разве не этот пафос прочитывается в писаревском «ultimatum'е нашего лагеря»?! Только лагерь-то настолько очевидно «не наш», что самое время задаться еще одним вопросом: затеяв в настоящем борьбу «вечности с временем» в смысле радикальной селекции преходящего, что, собственно говоря, мы консервируем? По-русски говоря – сохраняем, оберегаем от порушения, под-держиваем жизнь?

Взятая в таком ракурсе бердяевская формула представляет нам *истинного* консерватора как беспощадного *критика* настоящего, неустанно расчищающего нетленное прошлого от «наростов» сиюминутного, а по сути – от посягательств «будущего». Вообще, при таком повороте темы само «будущее» становится избыточно ненужным – *преходящим*. Ведь если «вечное» уже состоялось в прошлом и надлежит быть сбереженным в настоящем, то какова здесь роль того, чего еще нет? Или «будущее» – это только перенесенное в завтра сохраненное в сегодня – «вчера» (оно же – «вечное»)? Или – опять-таки вечная «борьба вечности с временем»?!

Но и при альтернативном прочтении бердяевской формулы мы вновь вступаем на путь не менее удивительных парадоксов. Если истинный консерватор – этот тот, кто умеет превращать (по-бердяевски правильно было бы сказать – перебарывать) преходящее в вечное, то из беспощадного критика он сам превращается в безоговорочного *апологета* сиюминутной данности. Он становится тем, кто обладает, согласно М. Оукшотту, особым даром «предпочитать знакомое неизведанному, опробованное неопробованному, факт загадке, действительное возможному, ограниченное безграничному, близкое далекому, достаток изобилию, просто удобное совершенному, радость сегодняшнего дня блаженству, обещанному где-то в утопическом будущем» [7, с. 66].

Иными словами, истинный консерватор оказывается движим фаустовским «Остановись, мгновенье!», но не в возвышенно-эстетическом, а в приземленно-практическом смысле. Умение радоваться здесь и сейчас бытию, не обременяя эту радость заботами о «лучшем», способность уместить «вечное» в преходящем – таков ли исход указанной Бердяевым борьбы? Но если «вечность» уже здесь, то опять возникает сомнение в уместности «будущего» – зачем оно? И если оно непременно будет, то как должен отнестись к нему консерватор: как к угрозе?

В обоих вариантах прочтения бердяевской формулы мы обнаруживаем то, что и придает ей смысл, – борьбу по-разному противостоящих друг другу смыслов. Таким образом, можно утверждать, что совсем не-консерватор Николай Бердяев сумел дать живое – то есть само себя постоянно оспаривающее – определение консерватизма. И этим самым высветил одну из вечных проблем отечественного консерватизма – постоянную неудовлетворенность запроса на однозначно окончательное самоопределение. Ведь в самом деле – с середины века двенадцатого, когда впервые в русский язык вошло само слово «консерватизм», и по сию пору споры о том, что это такое, – не затихают. Так, может быть, сама постановка вопроса об отечественном консерватизме – что называется, ни о чем? Может быть, мы пытаемся найти и определить то, чего у нас не было, нет и поэтому – никогда не будет?! А в том, что эти вопрошания небеспочвенны, достаточно легко убедиться, обратившись к самой нашей (по негласной презумпции) «консервативной» мысли.

При всех спорах о том, были ли наши первые «славянофилы» пленниками «консервативной утопии» (А. Валицкий) или же на самом деле – своеобразными русскими «либералами», сам поворот славянофильской мысли к чему-то «вечному», «нетленному» в отечественном прошлом позволяет рассматривать

их (в соответствии с бердяевской формулой) в качестве «консерваторов». Однако любопытно вот что. Ни старшие, ни младшие мыслители славянофильского круга странным образом не озаботились тем, чтобы выработать самим свое собственное имя. Ведь само слово «славянофилы» – это насмешливое прозвище, обозначавшее в начале двадцатых годов XIX века «любителей древнего слова» – сторонников литературной школы «архаистов» адмирала Шишкова. Да – и Хомяков, и Аксаковы, и Киреевские восприняли это прозвище в гордом противостоянии тем, кого называли русскими «западниками». Но его неадекватность, помимо истории происхождения, заключается еще и в том, что ведь по отношению к России весь славянский мир – это тоже «Запад»!

Но, может быть, славянофилы были недостаточно осведомлены о том, что в европейском языковом обиходе уже появился термин «консерватор», которым можно было бы с комфортом воспользоваться для своей идейной и общественной идентификации? Предположение сколь наивное, столь и неоправданное ввиду такого разъяснения, данного К.С. Аксаковым в записке «О внутреннем состоянии России», адресованной императору Александру II в 1855 году: «Трудно понять Россию, не отрешившись от западных понятий, на основании которых все мы хотим видеть в каждой стране – и поэтому в России – или революционный или консервативный элементы; но и тот, и другой суть точки зрения нам чуждые; и тот и другой суть противоположные стороны политического духа; ни того ни другого нет в Русском народе, ибо в нем нет самого духа политического» [9, с. 71].

Отречение одного из бесспорных славянофильских авторитетов от имени «консерватор», вполне поддержанное остальными, отчасти объяснимо конкретным временем. В 1855 году собственно «николаевская» принципиально аполитичная (если не сказать жестче – антиполитичная) эпоха завершилась по астрономическому, но отнюдь не по историческому времени. Представление о том, что политика – дело только и исключительно царское, имело под собой основание не только в виде особой славянофильской теоретической конструкции, но и отражало реальную практику николаевского «хорошо управляемого полицейского государства». В таком государстве «господствовало убеждение, что монарх и его правительство существуют для того, чтобы заботиться обо всех и обо всем, а что заботиться о себе самих – есть неуважение к государству и тем самым политически опасная установка» [6, с. 154].

Будучи по еще петровскому замыслу вполне европейским продуктом, такое государство – в славянофильском представлении – почти идеально соответствовало «неполитической» специфике русского народа. И Константин Аксаков предлагает молодому императору путь реформ, на котором предстоит «понять Россию и *возвратиться* [курсив мой – Л.П.] к русским началам, согласным с ее духом» [9, с. 92]. Первый шаг на пути такого понимания-возвращения состоит в том, чтобы позволить «народу» свободно выражать свое мнение по любым вопросам. Вот четкая аксаковская формула: «Самостоятельное отношение безвластного народа к полновластному государству есть только одно: *общественное мнение*» [9, с. 81].

На примере Константина Аксакова и его коллег «старших славянофилов» мы можем видеть, что перед нами типичный пример первого варианта прочтения бердяевской формулы «истинного консерватизма». Презумпция «русских начал», к которым необходимо и возможно (?) *возвратиться*, неизбежно превращала славянофилов в беспощадных критиков российской современности. И собственно современность виделась им в близкой «апокалиптической» перспективе: «Россия держится долго потому... что еще не исчезла в ней до-Петровская Россия» [9, с. 89]. А отсюда следовал тот радикальный вывод, который Аксаков рискнул представить едва взошедшему на российский престол

Александрю: «Да, опасность для России одна – если она перестанет быть Россией – к чему ведет постоянно теперешняя Петровская правительственная система» [9, с. 88].

В аксаковском изложении славянофильская программа заставляет еще раз задуматься о причинах неприятия самоопределения в качестве консерваторов. Помимо достаточно четко мотивированного нежелания идентифицироваться политически, на «западный» манер, есть еще и особое отношение к русской истории, к допетровскому прошлому, в которое необходимо возвратиться, чтобы остаться самими собой. В этом парадоксе «возвращения к себе», для «обретения себя» очень наглядно высвечивается интеллектуальная драма славянофилов, не позволяющая *безоговорочно* причислять их к консерваторам не только потому, что они сами этого не хотели. Суть этой драмы в том, что они мыслили в модусе «вечности», подключая историю не как развитие, а как процесс «порчи» изначально данного «идеала».

Автор этой «драматургии» А.С. Хомяков именно по данному критерию раз и навсегда отделил «Русь Святую» от «Запада», объяснив, что западный человек потому и живет с надеждой на будущее, потому и жаждет прогресса, что его и прошлое, и настоящее – плохо. А русскому человеку не нужно чего-либо ждать от будущего, поскольку ему в прошлом уже даны два бесценных дара – *православное* (единственно истинное) христианство и сельская *община*. Понятно, что такой принципиальный а-историзм (вполне, кстати, наглядно коррелирующий с принципом древнерусской иконной «обратной перспективы»), превращал славянофила в критика не только постпетровской русской истории, но и истории как таковой. И если это терминологически допустимо, то о славянофильстве следовало бы говорить как об «археологическом консерватизме», поскольку смысл их программы сводился к высвобождению из-под пластов «неподлинной» (хотя иной и не бывает!) истории – подлинной национальной «сути».

Однако, наблюдая за тем, как в начале александровских реформ терминологически идентифицированная история русского консерватизма вроде бы обрывается, даже не начавшись, мы обнаруживаем, как в точке этого «обрыва» помощь приходит с, казалось бы, противоположного – либерального – фланга. И конкретно – от самого «нерусского» (по определению Бердяева) из всех русских мыслителей – Б.Н. Чичерина¹. Именно он предпринял героическую попытку не только ввести в законный общественно-политический оборот само именование «консерватор», но и очистить его от тех унижительно-оскорбительных смыслов, которыми оно обросло к началу шестидесятых годов XIX века. А очищать было от чего.

В статье «Что такое охранительные начала?», вошедшей в сборник «Несколько современных вопросов» (1862), Чичерин писал: «Слово “консерватор” сделалось у нас пугалом. При этом звуке русский либерал кипит злобой <...> Консерватор у нас – синоним тупого равнодушия к общественному благу, презрения к народу, своекорыстия вельмож, нахальства чиновников, лести, обмана и лихоимства. В его черной душе таится одно лишь гнусное стремление к чинам и карьере. Малейший оттенок консерватизма немедленно ставит человека в разряд отсталых, отпетых людей и делает его предметом насмешек, брани и клеветы» [12, с. 439].

И надо признать, что такое отношение к консерватизму со стороны русского «разбуженного» постниколаевского общества было если и не оправдано, то имело основания хотя бы в том, что самим Чичериным обозначено с помощью термина «*консерваторы-рутинисты*». Поскольку они опираются «на одну рутину,

¹ «По Чичерину можно изучать дух, противоположный русской идее, как она выразилась в преобладающих течениях русской мысли XIX в.» [2, с. 171].

на слепую привязанность к старине, на идолопоклонство перед существующим порядком», сам этот «существующий порядок обречен на падение» [12, с. 443].

Однако Чичерин настаивает на том, что может быть и должен быть в России иной – «разумный и либеральный консерватизм» [12, с. 450], энергетика которого должна помочь «охранительной партии» удержать «свое общественное значение» [12, с. 443]. Такой консерватизм непременно должен выступать в паре с «партией прогресса», которая «представляет в обществе элемент движения». И Чичерин дает пророчески верную формулу реабилитации консерватизма: «Где нет партии прогресса, там народ погружается в восточную неподвижность; но где нет охранительной партии, там общественный быт представляет только бессмысленный хаос, вечное брожение, анархию, немислимую в разумном общезнании <...> Горе народу, который извергнет из своей среды охранительные начала!» [12, с. 442].

В этом заочном споре о смысле и самой возможности русского консерватизма между Константином Аксаковым и Борисом Чичериным в роли союзника первого вроде бы неожиданно выступил бывший безоговорочный «западник» (в России), превратившийся в безоговорочного «русского социалиста» (на Западе) – Александр Иванович Герцен.

Еще в «Письмах к Путешественнику» (1865) он утверждал, что «у нас консерватизм дальше и выше деревни не идет» [3, с. 444], хотя при этом и опасался возникновения по типу британских тори русского дворянского консерватизма: «Консервативная партия в экономическом смысле у нас только что слагается, ее росту надобно помешать. Императорская власть чисто внешняя, у ней сила, а не смысл» [3, с. 467].

Но пару лет спустя он, похоже, окончательно успокоился на этот счет. Русские «тори» как-то не складывались, в смысл империи верить по-прежнему вроде бы не было оснований. И Герцен, признавший, что при прямо противоположных взглядах со славянофилами у него с ними «сердце билось одно», выносит свой «окончательный» приговор: «Нельзя говорить серьезно о консерватизме в России. Даже самое слово это не существовало до освобождения крестьян. Мы можем стоять, не трогаясь с места, подобно святому столпнику, или же пятиться назад подобно раку, но мы не можем быть консерваторами, ибо нам нечего хранить. Разностильное здание, без архитектуры, без единства, без корней, без принципов, разнородное и полное противоречий. Гражданский лагерь, военная канцелярия, осадное положение в мирное время, смесь реакции и революции, готовая и продолжаться долго и на завтра же превратиться в развалины» [3, с. 253].

Разумеется, сами славянофилы такого рода «поддержку» вряд ли приняли бы, учитывая, что Герцен фактически рубил под корень их центральный тезис, когда писал: «Ошибка славян состояла в том, что им кажется, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и не могла иметь» [3, с. 228]. Но, отрециваясь от славянофильской «консервативной утопии», в частности и от самой возможности консерватизма в России вообще, сам Герцен в письмах «К старому товарищу» вдруг заговаривает языком консерватора во втором варианте бердяевской формулы. В ответ на бакунинское упование на естественную «революционность» народа он вспоминает свой прежний тезис о естественной его консервативности: «Народ – консерватор по инстинкту, и потому, что он не знает ничего другого, у него нет идеалов вне существующих условий» [3, с. 543].

Именно ввиду этой народной привычки в обыденном видеть идеальное (в преходящем – вечное) с «консерватизмом народа труднее бороться, чем с консерватизмом трона и амвона» [Там же]. Но на самом деле этого и не надо делать! Тотальное анархическое отрицание всех исторически выработавшихся

социальных институтов (государство, церковь, семья, собственность) – путь не к освобождению человечества, а к разрушению самой человеческой цивилизации. И заведомо не-консерватор Герцен скажет: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы» [3, с. 544].

Это удивительная способность русских не-консерваторов мыслить остро консервативно и даже говорить аутентично консервативным языком может быть проиллюстрирована еще одним характерным примером. Речь о А.Д. Градовском – одном из ярких представителей русского либерализма эпохи александровских реформ. Пятнадцать лет спустя после попытки Чичерина реабилитировать и сам термин «консерватизм», и его истинные смыслы Градовский вновь возвращается к этому сюжету в статье, прямо названной «Что такое консерватизм?».

Прежде всего он переводит вопрос о сущности консерватизма из области теоретико-мировоззренческих (философских) установок в область собственно *политическую*: «Словами – консерватор, консерватизм, определяется не столько склад теоретических понятий общественного деятеля, сколько практическое направление его деятельности, не столько склад его ума, сколько направление его воли» [4, с. 338]. Из этого базового определения следует весьма важный вывод, развивающий тезис Чичерина о необходимости утверждения в России «разумного и либерального консерватизма». По убеждению Градовского, очень важно избавиться от одного укоренившегося в общественном сознании России заблуждения: «Например, у нас очень принято противопоставлять термины консервативный и либеральный, не подозревая, что противоположение этих понятий представляет порядочный абсурд. Либерализм есть известная теория устройства государства, форм и пределов его деятельности <...> В этом смысле либерализм противопоставляется абсолютизму и гвернаментализму (правительственной опеке)» [4, с. 339].

Если при размежевании различных философско-мировоззренческих принципов и практически-политических установок («направлений воли») быть последовательным, то не нужно удивляться таким, например, комбинациям в Западной Европе: «Либеральная партия уже выступает там в качестве консервативного элемента, в противоположность требованиям социалистов, возвращающимся к началам государственного вмешательства» [Там же]¹.

Выведа «консерватизм» за пределы спора о принципах, Градовский далее идет по пути, уже проложенному Чичериным. Естественным партнером (дружественным оппонентом) консерватора в сфере «общественной деятельности» (понятный эвфемизм для «политики» в самодержавном контексте) оказывается «прогрессист». И при таком подходе становится возможным предложить компромиссную, но при этом – продуктивную формулу социального реформаторства: «Если консерватор старается связать прошедшее с настоящим, то прогрессист думает о связи настоящего с будущим; консерватор направляет свои усилия к тому, чтобы учреждения прошедшего видоизменились согласно требованиям настоящего, и через это приобрели бы новую свежесть и прочность; прогрессист старается внести в настоящее иные требования будущего, которое он предвидит и работу которого он старается облегчить. Его требования всегда шире, причем резче, критика глубже, чем у консерватора» [4, с. 342]. Отсюда естественно следует: «Каждая реформа является результатом их соглашения. Она показывает меру усту-

¹ Этот феномен отметил и Герцен, назвав западноевропейских либералов революционными консерваторами.

пок, сделанных партией консервативной, под влиянием общего сознания необходимости перемены» [4, с. 343].

Подчеркивая различия между консерваторами и прогрессистами, Градовский утверждает, что более значимо их фундаментальное сходство: «Но и консерваторы, и прогрессисты сходны в том, что они одинаково стоят на почве исторического развития народа» [4, с. 342]. И этот тезис еще больше усиливает впечатление того, что перед нами – бёрковская консервативная парадигма, построенная на утверждении историзма и трактовке «общественного договора» как пакта между поколениями «прошлыми» (уже ушедшими) и поколениями «будущими» (еще не рожденными), медиатором которого выступает поколение «настоящего». Однако это впечатление оказывается не совсем верным по двум причинам.

Во-первых, Градовский в связке «консерваторы – прогрессисты» отдает безусловную реформаторскую инициативу именно последним, подчеркивая, что всякая реформа – это непременно *уступка* со стороны консерваторов. И раз «консерватизм» – это, по Градовскому, не принципы, а «направление воли», то очевидно, что в условном соревновании за контроль над позицией «императора-реформатора» в российском контексте верх всегда должны брать именно прогрессисты.

И отсюда, во-вторых, появляется уже отчетливо политически заостренная пара двойников продуктивной реформаторской связки – «реакционеры – революционеры». Градовский так объясняет различие между консерватором и реакционером: «Консерватор хранит старину, но в пределах требования настоящего <...> Реакционер, напротив, живет стариной, не признавая никаких требований настоящего. То, что совершается сегодня, кажется ему самым злым оскорблением для почтенной старины» [4, с. 343].

Несмотря на различие в терминах, чичеринский «консерватор-рутинист» практически не отличается от «реакционера», поскольку фактически провоцирует революционное разрушение существующего порядка. А при этом, несмотря на весьма критичный портрет «революционера»¹, Градовский оставляет без ответа политически главный вопрос: кому дано право определять «требования настоящего»? Тому ли, кто убежден, что институты прошлого еще вполне годны и что требующие их изменений есть тем самые «революционеры», которые отрешились от истории и страстно желают воплощения в жизнь своей «отвлеченной формулы» путем разрушения существующего порядка? Или, наоборот, тому, кто осознал непригодность институтов прошлого и видит в тех, кто за них держится, – несущих разрушение существующему порядку «реакционеров»?

Вернее будет сказать, что Градовский дает на этот вопрос косвенный ответ, посвящая основную часть своей статьи описанию того, как лидер британских тори Роберт Пиль выступал в роли реформатора, проводя «политическую эмансипацию католиков» в 1829 году и отменяя по требованию партии «фри-тредеров» так называемые хлебные законы в 1846 году. Но этот ответ, именно в силу своей «косвенности», удовлетворял, как ни странно, представителей прямо противоположных идеологических лагерей. Во-первых, Герцена, который именно и настаивал на том, что в России никакого консерватизма в стиле британских тори создать невозможно (и не нужно), поскольку она есть та самая «смесь реакции и революции». А во-вторых, издателя «Московских ведомостей» Михаила Никифоровича Каткова, который категорически утверждал: «В России

¹ «Если вы взглянете в черты революционера, разложите его природу на существенные элементы, вы откроете в нем только две вещи: во-первых, отвлеченный принцип, во имя которого он порвал все связи с прошедшим; во-вторых, совокупность страстей, инстинктов, похотей – всего того, что принято называть стихийной силой, ставшей на службу отвлеченной формуле» [4, с. 346].

государственную партию составляет весь русский народ. Гнилой либерализм и гнилой консерватизм оказываются только в нашем гнилом космополитическом и поверхностном образовании» [5, с. 380].

Странным образом Катков, безусловный абсолютист, именуемый то ультраконсерватором, то просто реакционером, как будто сходится с Герценом в признании того, что в России то, что именуется консерватизмом, несостоятельно («гнило») по определению. А вот «естественный» консерватизм нужно искать в «русском народе», определяемом не этнически, а в качестве *политической* нации. Хотя на самом деле позиция Каткова в отношении российских «консерваторов» и «либералов» определяется принципиальным неприятием самой идеи «партийности» как таковой.

Приведенные выше строки, написанные им в марте 1881 года, после убийства Царя-Освободителя – это фактически возвращение к тезису Константина Аксакова в преддверии восшествия на престол Александра III. Новому императору Катков предлагает поверить в то, что в русском народе нет «духа политического». Что разделение на партии, которое в предыдущее царствование едва не спровоцировало появление своего рода «предпарламента», должно быть искоренено не только и не столько из общественной практики, сколько из умов российского общества.

Партийность может быть относительно приемлема в Америке, хотя и там «нет и помину о партиях либеральной и консервативной в политическом смысле» [Там же]. На самом деле, убеждал своих читателей Катков, там есть партия «государственная», представляющая «центростремительную силу», – то есть партия *республиканская*, и «партия расторжения и разложения», представляющая «движение центробежное», – то есть партия демократическая. Именно прообраз этой последней усматривается Катковым в зарождающейся российской партийности, и он утверждает: «Дух космополитизма, нечистый дух политической безнравственности, расторжения и разложения – вот что роднит наших либералов с антинациональной партией Северной Америки и в чем не уступят им так называемые наши консерваторы, которые забыли свой народ и ратуют лишь за отвлеченные принципы» [Там же].

Во всех случаях подобных выпадов против отечественных «либералов» и «консерваторов» Катков избегает персонификации, но очевидно подразумевает публицистов и мыслителей, продвигавших либо идеи конституции и парламентаризма (Чичерин, Градовский), либо идею необходимости особого представительства «Земли» («Земский Собор») перед чуждым ей «Государством» (поздние славянофилы). Оба варианта рассматривались им как прямое покушение на самодержавие как несущую конструкцию всей русской государственности. И он утверждает: «Наши воздушные партии, либералы и консерваторы, консерваторы и либералы, хлопчут о “правовом порядке”, как они выражаются на своем жаргоне, и желают наделить нас, русских подданных, политическими правами <...> Они хотят даровать нам политические права, но у нас есть политические обязанности, а это больше <...> Напрасно нам сулят конституцию; мы уже имеем ее в нашей государственной присяге, которая обязывает всякого русского подданного радеть о пользах Государя и государства» [5, с. 403].

Собственно следующие двадцать пять лет в российских *государственно-консервативных* «кругах» этот подход оставался необсуждаемой доминантой. «Деполитизация» как основная *государственная* стратегия, как бы перенесенная из докрымской (николаевской) эпохи и особенно наглядно проявившаяся в тринадцатилетнее царствование Александра III, имела неоднозначные последствия прежде всего для тех, кто пытался мыслить консервативно. Лишенные возможности политической репрезентации, они оказались вытеснены в про-

странство публицистики, где выбор по-прежнему оставался между отстаиванием «вечного» в потоке «преходящего» (позиция критика), либо возведением «преходящего» в статус «вечного» (позиция апологета).

Неудовлетворенные этим принудительным выбором мыслители консервативного духа сознательно превращались в маргиналов, оберегающих не столько наличный порядок, сколько свое право этот порядок свободно защищать, либо *свободно* обличать.

Эта позиция особенно остро выражена Василием Васильевичем Розановым: «Консервативные идеи запакошены, и кто им хочет служить – должен их реабилитировать <...> свободный, не связанный, не обязательный консерватизм есть последняя почти карта, которая ему остается в почти проигранной исторической игре. Если найдутся 2–1 [неразб.] которые остаются православные, остаются монархисты и преданы “свято-отеческой старине” по неоспоримо свободному соизволению сердца – еще значит игра не окончена, карты нечего бросать <...> Вот почему, думается, мы должны сражаться совершенно в разброде, в одиночку; даже замешиваясь в ряды противников; и образовать за невозможностью стоять “стенкой” – так сказать бродячие консервативные идеи, блуждающие мысли, – которые теперь или позже, в том или ином чутком человеке заронят семя консервативного мирозозерцания <...> Просто консерватизм (не в идеях, а в людях) опостылел мне; переболела моя душа от них, возненавидел я их за <...> их способы служить консерватизму»¹.

И, похоже, сам Лев Александрович Тихомиров вполне разделял подобное розановское умонастроение. Во всяком случае, именно так заставляет думать его запись в дневнике от 28 апреля 1896 года: «Какие вообще ослы наши “консерваторы”. Как их не бить противникам при такой глупости» [10, с. 614].

Эта отчасти вынужденная, отчасти добровольная маргинализация дорого обошлась российским консерваторам (в итоге – самой России), когда политика, то есть парламентаризм и партийность, вдруг оказались реальностью, да еще по воле самого Самодержца! Их либеральные оппоненты, имевшие хорошо подготовленную кадрово-информационную инфраструктуру, одержали оглушительную победу (153 депутата от кадетов против 13 от октябристов) на первых думских выборах. Да и на вторых образовали вторую по численности фракцию после «трудовиков». И даже глубокая избирательная реформа не позволила создать в третьей и четвертой Думах сколь-нибудь значимое консервативное большинство.

Проницательный наблюдатель этого процесса, С.Н. Булгаков, с грустью констатировал: «Величайшее несчастье русской политической жизни, что в ней нет и не может образоваться подлинного (“английского”) консерватизма: таким мог сделаться настоящий, не каучуковый, но идейный октябризм, и явный провал октябризма, которому многие теперь радуются, есть ясный симптом того, что для октябризма еще не дозрела наша политическая культура, которая предъявляет спрос только или на сервильность, или на “левизну” безответственной оппозиции, или слепой революционизм» [11, с. 196].

Этот диагноз-приговор российскому консерватизму, поставленный Булгаковым по итогам наблюдений за выборами в последнюю имперскую Думу, оказался пророческим. Ведь именно эта Дума и совершила государственный переворот, отказавшись 27 февраля 1917 года подчиниться императорскому указу о роспуске. И так называемая Февральская революция оказалась практически «бескровной» именно потому, что была ни чем иным, как «революцией сверху». Другой вопрос, что «верхи», не опиравшиеся на консервативный фундамент, уже в октябре оказались свергнуты «низами», зараженными «детской болезнью левизны».

¹ В.В. Розанов – в письме к Л.А.Тихомирову от 1895 г. Цит по.: [10, с. 614].

И товарищ Булгакова по сборникам «Вехи» и «Из глубины» Николай Бердяев уже в 1918 году написал: «Несчастлива судьба той страны, в которой нет здорового консерватизма, заложенного в самом народе, нет верности, нет связи с предками. Несчастлив удел народа, который не любит своей истории и хочет начать ее с начала. Так несчастлива судьба нашей страны и нашего народа. Если консерватизм существует лишь у власти, оторванной от народа и противоположной народу, в самом же народе его нет, то все развитие народа делается болезненным. В консерватизме, как связи с вечностью, должна быть не только сила, но и правда, привлекающая сердце народное, обоснованная в его духовной жизни» [1, с. 122].

Зная то, чего еще не знал Бердяев, написавший эти строки почти сто лет назад, мы можем засвидетельствовать, с одной стороны, их непреходящую истинность, а с другой – преходящий характер их базовой констатации. Сегодня, как и сто лет назад, мы обязаны понимать, что условием *sine qua non* органического, революциями не прерываемого развития страны является наличие продуктивной связки консерватизма «власти» и консерватизма «народного». А для этого должна существовать народная «духовная жизнь», состоящая как раз в ежедневном опознавании во всем преходящем присутствия (либо отсутствия) той самой «правды», которая по определению не может не быть вечной.

В этом случае *практически* действенный консерватизм «власти» (при вечном продолжении *теоретического* спора о его сути) будет состоять в охране и обеспечении права «народа» на жизнь в соответствии со своей правдой – какой бы «странной» или «несовременной» она ни казалась со стороны. Вот эта способность создавать то, что весьма удачно обозначено как «духовные скрепы», и начинает проступать в сегодняшнем времени России. Оставляя надежду на то, что властно-народный консерватизм обретет, наконец, статус если не «вечного», то по крайней мере непреходящего в российской политической культуре.

Литература

1. Бердяев Н. Философия неравенства. М.: ИМА-Пресс, 1990.
2. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философии. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990.
3. Герцен А.И. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1989.
4. Градовский А.Д. Трудные годы (1876–1880). М.: РОССПЭН, 2010.
5. Катков М.Н. Имперское слово. М.: Москва, 2002.
6. Леонтович В.В. История либерализма в России 1762–1914. Париж, 1980.
7. Оукшотт, Майкл. Что значит быть консерватором // Оукшотт, Майкл. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-Пресс, 2002.
8. Писарев Д.И. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М., 1955.
9. Ранние славянофилы. М., 1910.
10. Тихомиров Л.А. Христианство и политика. Москва; Калуга, 2002.
11. Христианский социализм. С.Н. Булгаков. Новосибирск: Наука, 1991.
12. Чичерин Б.Н. Философия права. СПб.: Наука, 1998.

Аннотация. Статья посвящена выявлению и критическому рассмотрению смыслов терминов «консерватизм» и «консерваторы», присутствующих в русской философско-политической мысли второй половины XIX – начала XX века. В качестве исходного берется позднее определение Николая Бердяева, которое позволяет установить основную дилемму консервативного (само)определения: либо беспощадная критика «преходящего» с точки зрения «вечности», либо возведение всего наличного в статус «вечного». В рамках этой дилеммы можно проследить, как аутентично консервативные принципы и смыслы могут быть парадоксально выражены в различных и даже противоположных идеологических парадигмах. Неразрешимость этой дилеммы привела в имперский период к крушению консерватизма и гибели государства. Но она может быть разрешена в современной России за счет того, что базовые консервативные принципы выступают теми «духовными скрепами», которые объединяют «власть» и «народ».

Ключевые слова: консерватизм, либерализм, прогрессизм, реакция, революция.

Leonid Polyakov, Ph.D. in Philosophy, Head of the Editorial Board, “Essays on Conservatism” journal; Professor, the Department of Political Science, Higher School of Economics.
E-mail: leopolen@yandex.ru

The Eternal and Momentary in Russian Conservatism

Abstract. The article pinpoints the plurality of meanings of the terms “conservatism” and “conservatives” which were in use in the Russian philosophical and political thought in second half of the XIX – early XX centuries, and gives a critical evaluation. The study starts with Nikolai Berdyaev’s definition of “conservatism” which poses the key dilemma: either to mercilessly criticize the momentary from the point of view of “eternity”, or to ascribe to the existing momentary a rank of “Eternal”. Through this dilemma it is possible to demonstrate how authentic conservative principles and meanings could have been presented in different and alternative ideological paradigms. The everlasting character of this dilemma in the pre-revolutionary Russian conservative thought for a long time deprived of a possibility for political representation, brought about a fatal gap between conservatism “from above” and radical-left mood “from below”. The ultimate outcome was the collapse of the Empire. The contemporary situation in Russia allows to escape such a scenario through assuming conservative principles as “spiritual bonds” tying authorities and the people.

Keywords: Conservatism, Liberalism, Progressivism, Reactionary, Revolution.